

...Ибо природа, заставив все другие живые существа наклоняться к земле, чтобы принимать пищу, одного только человека подняла и побудила его смотреть на небо...

Марк Тулий Цицерон

...Когда двигаетесь, старайтесь никого не толкнуть.

Правила хорошего тона

Иногда хочется кричать, да хорошее воспитание не позволяет.

Лавиния Ладимировская

КНИГА ПЕРВАЯ

1

Я присутствовал на поединке в качестве секунданта князя Мятлева. Князь стрелялся с неким конногвардейцем, человеком вздорным и пустым. Не буду сейчас рассказывать, что именно побудило их взяться за пистолеты; время этому придет. Во всяком случае, причиной была сущая безделица, да и дуэли давно отшумели и вышли из моды, и поэтому все происходящее напоминало игру и не могло не вызывать улыбки.

Конногвардеец пыжился и взглядывал угрожающе, так что мне на минуту даже стало как-то не по себе при мысли, что пистолеты заряжены и этот индюк возьмет да и грянет взаправду. Однако оба пистолета грянули в осеннее небо, и поединок закончился. Соперники протянули друг другу руки. При этом конногвардеец глядел все так же грозно, а князь попытался улыбнуться, скривил губы и густо покраснел.

Пора было расходиться. В этом пустынном месте, как ни было оно пустынно, все же могли появиться посторонние люди, а так как им всегда до всего есть дело, то встреча с ними не сулила ничего хорошего.

Стояла трогательная тишина позднего октябрьского утра. Минувший поединок казался пустой фантазией.

Мы уселись, кучер тронул лошадей, и коляска медленно и бесшумно покатила по желтой траве.

Мы были знакомы уже много лет, с десяток, пожалуй, или даже поболее, точнее, с того злополучного года, когда в кавказском поединке от пули недавнего товарища по какому-то там недоразумению пал молодой, но уже знаменитый поэт.

Князь Мятлев был секундантом у одного из них, у кого точно, не берусь утверждать, но эта трагедия как-то сразу его надломила. Рассказывали, что до того происшествия он был повесой, и дуэлянтом, и сорвиголовой, но мне он достался уже другим. То есть не то чтобы желание пошуметь, попроказить охладело в нем совершенно, но оно было уже не постоянным, как когда-то, а лишь изредка в нем вспыхивало.

О погибшем поэте князь говорить избегал, даже почти не упоминал его имени, а ежели кто по неведению все-таки лез со своими домыслами и соболезнованиями, я видел, как друг мой страдает. Поэтому и я не стану называть имя несчастного, памятуя о молчаливом сговоре между мной и князем.

...Наша коляска медленно приближалась к Петербургу. Мы молчали. Нынче князю было уже тридцать пять. Молодость давно миновала, да и все с нею связанное отлетело прочь. Как говорится, румянец сошел со щек и звонкий смех угас. В молодости он казался красивым, хотя и сейчас немалая толпа былых его почитателей, вернее даже почитательниц, не отступала от своих восторгов. Он был выше среднего роста, чуть повыше, не широк в плечах, с лицом вытянутым несколько, теперь уже украшенным очками, из-под которых глядела его недоумевающая душа. Темно-каштановые кудри слегка поредели, поблекли.

...Наконец мы въехали в пыльные окраины Петербурга, и двухэтажные строения обступили нас. Я снова глянул на князя. Он сидел все так же неподвижно. Я вспомнил его на дымчатом утреннем лугу с нелепым пистолетом в руке: черный сюртук, серые панталоны, галстук почему-то в левой руке, воротник белой сорочки распахнут, в неподвижной фигуре что-то стремительное, изящное, сильное, хотя рука вскидывает пистолет лениво, губы кажутся тонкими и сухими. Теперь же он сидел сгорбившись, так и не повязав галстук, держа его по-прежнему в кулаке.

Колеса экипажа коснулись первых торцов. Руки князя покоились на коленях. Узкие запястья, длинные пальцы, перстень с изумрудом неправильной формы — память о минувших днях. Князь особенно дорожил этим перстнем, всегда о нем помнил и в минуты раздумий или душевного смятения внимательно его разглядывал. На камне имелось маленькое рыжеватое пятнышко: то ли вкрапление железа, то ли след древнего существа. Мятлев говорил мне, что за многие годы научился различать в пятнышке некие особые замысловатые очертания, и утверждал, что они подвержены переменам в зависимости от времени года и еще от чего-то, кажется, даже от состояния духа. Он называл его Валерик в память о знаменитом месте нашей печальной славы и о человеке, который надел этот перстень Мятлеву на палец. Там, у реки Валерик, в группе охотников князь совершил вылазку. Предприятие было удачным, но в последнюю минуту горская пуля все-таки его достала. В тяжелом состоянии, без надежд вынесли его на наш берег. Долгое время жизнь князя висела на волоске. Но упал он на прибрежные камни уже обладателем этого перстня, который перед вылазкой вручил ему старик Распевин — солдат линейного батальона. Бедный старик с отвислыми усами на худом лице! Особые обстоятельства вынудили

его проситься в группу охотников, ибо от успеха предприятия зависела для него жизнь. В прошлом блистательный поручик, умница, человек широкой души и самых благородных нравов, полный радужных надежд, поддавшись велению сердца и человеческого долга, вышел на отважный поединок со злом, был повержен, сломлен, лишен всяких прав и вместе с соучастниками закован в цепи. Его противники позаботились о нем. Они даровали ему жизнь, то есть возможность физического существования, тем самым усугубив его пытку. Бог весть сколько железной руды выгреб он из сибирской земли, из этой нескончаемой кладовой наших богатств и печали, покуда наконец к нему не снизошли. Его перевели на Кавказ в действующие войска солдатом, но до первого отличия в деле. Когда перед охотниками открылся Валерик, мысль о смерти не возникала у него. Напротив, он просто бредил удачей и скорейшим возвращением в прежнее свое качество. Но судьба тайно делала свое дело. Это она заставила его с радостной поспешностью одаривать своих друзей всякими милыми мелочами, будто бы в память о их совместной удаче, а вышло — в память о нем самом, ибо он был убит в самом начале дела. Вечный *persiflage*¹.

...Мы сделали небольшой крюк, проехали по Каменноостровскому, затем свернули чуть влево, на Малую Невку. Здесь снова потянулись пригородные особняки, теперь, правда, уже входящие в черту города. Это были роскошные постройки екатерининских времен, когда господствовало согласие богатства и вкуса, русской широты и западной утонченности. Одна за другой проплывали эти прекрасные постройки, свидетельницы недавнего блистательного прошлого столицы, полусокрытые стволами, но все же отчетливо видные сквозь кружева опадающей листвы. И вот наконец из-за поворота показалось прекрасное деревянное сооружение в три этажа с куполом, окруженное высоким кустарником. Поблек-

¹ Насмешка (*фр.*).

шее от времени и непогоды, оно все еще поражало строгостью форм и в то же время легкостью и приветливым видом.

Коляска въехала за чугунную ограду и остановилась.

Дом князя Мятлева был знаменит на весь Петербург. Злые языки рассказывали, что в нем со времен Александра Благословенного поселились и проживают привидения. Но это нисколько не снижало репутацию дома, а, наоборот, придавало ему таинственность, что в глубине души многим нравится.

В прохладном вестибюле великолепные копии с античных шедевров окружили нас привычной толпой. Но мы поднялись вверх, хотя они и простирали к нам свои каменные руки. Несколько темных старинных полотен, повешенных бог знает когда, усугубляли полумрак, царивший в этом зале. Обитатели дома здесь обычно не задерживались, и я, посещая князя, тоже привык взбегать по широкой лестнице вверх, вверх, туда, где в просторной комнате третьего этажа Сергей Мятлев облюбовал себе жилище. Иному из наших сибаритов здесь было бы неуютно: широкая тахта, служившая князю одновременно и кроватью; покойные и располагающие к беседе кресла с несколько потертым голландским ситцем, где диковинные тропические птицы упрямо глядели в одну сторону; небольшой столик овальной формы с восточной инкрустацией; красный рояль с пожелтевшей клавиатурой, вызывающей печальные воспоминания.

Этот рояль появился в доме уже на памяти князя, и тогда же пятилетний мальчик прикоснулся впервые к белой холодной планке, которая внезапно простонала под его пальцами. Мертвый полированный ящик был не так уж мертв. Стоило лишь возбудить его, как в нем тотчас возникала жизнь и ящик превращался в некое трехногое, теплое, вздрагивающее от прикосновения, кричащее от боли, ликующее, ухающее, свистящее, то яростно-неукротимое, то вдруг покладистое, как старая собака.

Мальчик придумал *такую* затею: он осторожно ступает по затихшему дому, запретив гувернеру сопровождать себя. Он подкрадывается к двери гостиной и внезапно распахивает ее. Неведомое, страшное трехногое, громадное и молчаливое, неподвижно стоит посреди гостиной, обратив широкую оскаленную морду к окну. Мальчик засовывает руку в пасть животному, и оно ревет басом от ярости и боли, и бледное лицо гувернера, словно луна, повисает в дверях. Мальчик жмурится от страха, но не отступает. Осторожное прикосновение, легкое поглаживание, несколько участливых слов, и чудовище преображается. Оно обвивает своим длинным хвостом шею мальчика, мурлычет, скалит в улыбке громадную многозубую пасть, дрожит от благоговения, попискивает, напевает без слов: «Оле-ле-ле, ле-ле, ли-ля-лю-ли...» Лицо гувернера розовеет и скрывается.

Интерес ребенка был замечен. Игра взрослых усугубила его пристрастие, и вскоре учитель музыки, дрессируя мальчика, выучил его дрессировать трехногое. Овладев в весьма короткие сроки нелегким искусством, уже юношей он не раз поражал знакомых меломанов и даже пробовал сочинять, что ему вполне удавалось. Грустная странная пьеска в духе немецких мастеров минувшего столетия с тревожным *andante*, с мятущимся, неистовым финалом, внезапно обрывающимся на пронзительном затухающем восклицании, принесла ему успех в узком кругу. Все, казалось, сопутствовало дальнейшему взлету. На офицерских вечеринках под его аккомпанемент хорошо пелось; когда барышни умоляли его подыграть им, он с охотой это делал, и их манерное трепещущее сопрано пронзительно страдало в модном «Колокольчике».

Однажды Петербург посетил знаменитый европейский гений. Он играл в нескольких домах, покуда не дошла очередь и до дворца. Гений был невысок, плечист, встрепан, на его апоплексическом лице мясника то и дело вспыхивала холодная учтивая улыбка, его смуглые жи-

листые руки с непомерно длинными пальцами хлестали по клавиатуре, словно обидчика по щекам... Его сочинение поразило слушателей своим великолепием, и восхищению не было конца. Затем начался бал.

Уже к его исходу, устав и взвинтившись, Мятлев пробрался в малую гостиную к роялю и принялся музицировать, пользуясь одиночеством. Несколько усталых гостей остановились в дверях, снисходительно улыбаясь. К ним присоединился и гений. Он уже собрался было уйти, но вдруг брови его взлетели изумленно, по красному лицу пошли белые пятна, глаза полузакрылись. Наконец он спросил шепотом: «Чье это сочинение?» Ему указали на Мятлева. «Кто же этот божественный музыкант?!» — «Князь Мятлев». — «Офицер?!» Дождавшись конца игры, он подошел к Мятлеву и обнял его. Князь покраснел, поблагодарил, отправился в буфетную и спросил водки. Спустя полчаса он слышал краем уха, как гений восторженно исповедовался кому-то о выдающихся способностях князя, на что его собеседник сказал: «Несомненно, маэстро. Но князь — представитель очень знатного рода, и было бы полезнее, если бы он с его именем послужил обществу, ну, скажем, на политическом поприще или, ну, скажем, утвердил бы себя в военном искусстве...» Мятлев снова отправился в буфетную и вскоре уехал.

С тех пор он почти перестал играть, когда его просили, морщился и отказывался, но так, чтобы, чего доброго, его нежелание не выглядело кокетством.

И с тех пор полированное чудовище с пожелтевшими зубами неподвижно и молча доживало свой век, уже без надежды на ласку.

Из комнаты Мятлева небольшая дверь вела в бывшую комнату его старшего брата Александра, ныне постоянно проживающего в Модене со своей женой-итальянкой. В этой комнате князь оборудовал себе библиотеку, собрав в ней любимые книги, отгородив место для дивана, большого стола и секретера.

Достопримечательностью главной комнаты, кроме рояля, было громадное полотно в тяжелой позолоченной раме, написанное неизвестным художником, то ли Кравцовым, то ли Копейкиным, весьма посредственно живописующее сошествие на американский берег первых конкистадоров. Завоеватели в руках держали копья и мечи, что было явной данью невежеству. Перед ними на глинистом берегу стояла группа туземцев с открытыми доверчивыми лицами и многочисленными подарками. Где-то вдалеке за ними, у предвечернего горизонта, угадывались огни костров, — видимо, там расположилось все племя, не помышляющее о скором и неминуемом своем конце. Плохо выполненное, безвкусное, это полотно в нелепой раме никак не гармонировало со скромной, но исполненной изящества обстановкой комнаты. Однако вот уже без малого двадцать лет украшало оно бессменно комнату, вызывая молчаливое недоумение редких посетителей. Меня с первого дня поражало лицо одного из туземцев, стоящего в глубине толпы. Оно было светлее, чем лица его собратьев, менее раскосо и скуласто; пронзительный, страдающий, умный взгляд останавливал внимание; какое-то высшее благородство сквозило в высокой стройной фигуре. Презируя убогого маляра, я восхищался этим единственным портретом, словно родившимся помимо желания его творца. Множество грустных мыслей вызывала эта фигура, и в то же время гордость за человеческий род вспыхивала во мне, стоило лишь задержать на ней взгляд. Я знал его имя, хотя вслух оно давно уже не упоминалось.

5

Когда-то дом этот блистал и наполнился шумом многочисленной семьи и еще более многочисленных гостей. Генерал-адъютант князь Мятлев был человеком, значительно приближенным к государю, и отпечаток принад-

лежности к самой высшей касте лежал в этом доме на всем. Однако желание блистать, к счастью, распространялось не только на времяпрепровождение. В доме Мятлевых все было с иголочки: лучшие гувернеры и лучшие учителя, великолепная библиотека и частые поездки за границу. Поэтому, когда пришла пора служить, сразу же по выходе из пажеского корпуса молодой князь был определен корнетом именно в кавалергардский полк. Там со всей юношеской страстью окунулся он в неистовства, принятые в этой среде. Служба была не обременительна. Развлечения и проказы раз от разу становились все изощреннее. Государь гневался, но вполсилы, будучи благосклонен к старому князю и пока границы шалостей отстояли от дворца на почтительном расстоянии. Однако в скором времени, после шумевшей истории с графиней Барановой, все переменялось. Графиня была немолода, некрасива и неумна. Положение фрейлины одной из великих княгинь многое ей позволяло. Она, к сожалению, часто использовала свое преимущественное положение, чтобы сводить с людьми, ей неугодными, мелкие счеты. Неугодными же ей были люди в основном красивые, молодые и умные. И вот однажды два молодых красавца (один из которых был наш юный князь), закутавшись в белые простыни, прокрались во фрейлинскую к графине, упрятались под кровать, а когда она появилась, продефилировали перед нею, повергнув ее в глубочайший обморок. Но на этом не кончились их фантазии, и они отнесли несчастную даму в нижние покои дворца, кажется, в кордегардию, которая оказалась пуста, и усадили ее на лавке со старинной алебардой в руках. Но и на этом все не кончилось, ибо любопытство пересиливало в них возможные опасения, и они спрятались там же, в темном углу. Вошел лейб-медик Ребров и тут же грянулся бездыханным. Шалуны благополучно исчезли, но вскоре их разоблачили. Разбирательство продолжалось недолго, и Сергея Мятлева перевели

в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, подальше от Петербурга, и даже старый князь был бессилен что-либо сделать.

Обстоятельства же этого наказания вскрылись, как обычно, спустя долгое время. Рассказывали, будто государь, узнав об этой шалости, только и сказал: «Не мешало бы напомнить князю, что он уже не мальчик...» — сказал и уехал, но верноподданные его слуги, а может быть, и враги старого князя поспешили раздуть пожар, да такой, что Сергей Мятлев и сам поверил, что это катастрофа.

Столица, как говорится, отдалилась; местечко, где стоял юный Мятлев со своим эскадром, было препакозное: ничего, кроме старой грязной корчмы да нескольких офицерских дочек, одуревших от тоски. Командир полка барон Р., человек-машина, чуть не ежедневно устраивал смотры с непременными затем придирами. Луга вокруг местечка были испохаблены конскими копытами, хамство процветало и поощрялось, офицерские дочки были готовы на все с любым, мало-мальски похожим на мужчину. Пожилые офицеры пили до умопомрачения, вистовали до полного идиотизма и с помощью жен плели интриги против офицерской молодежи. *La maladie éternelle*¹. Барон, видимо, сошел с ума на почве смотра. Молодые аристократы, не привыкшие к провинциальной солдатчине, возмутились. В один прекрасный день через местечко потянулась похоронная процессия. На простой телеге стоял закрытый гроб. За телегой шли несколько офицеров, предводительствуемые Мятлевым. За ними пол-эскадрона спешенных гусар. Печальное шествие замыкал полковой оркестр. У ворот всех домов толпились жители. Вдруг из-за угла выскочила коляска, и все увидели знакомое лицо командира полка.

— Что за похороны? — спросил барон.

¹ Вечная болезнь (*фр.*).

Процессия остановилась. Оркестр умолк. Все оборотились к Мятлеву. Князь Сергей, прикусив добела губы, торжественно, насколько позволяла грязь, подошел к коляске барона.

— Корнет, что все это значит? — шепотом спросил командир полка. — Что это... кто это... кого вы хороните?

— Вас, ваше превосходительство! — звонко отрапортовал юный князь. — Все огорчены. Прошу принять наши соболезнования...

Буря разразилась мгновенно, но то ли командир полка не был в числе любимцев у государя, то ли расстояние до Петербурга рассеяло удар, во всяком случае громы прогрохотали в вышине, а Мятлев получил новое предписание, сел в карету вместе с поваром и слугой Афанасием и отправился на Кавказ. О боевых делах он рассказывал неохотно, но мне-то было известно со стороны, как он там играл со смертью. Тяжелая рана принесла ему прощение. Внезапная смерть старого князя смягчила сердца богов, и Сергей Мятлев, словно блудный сын, вернулся под кавалергардский кров.

Кстати, о тяжелой ране. С нее-то, кажется, и начались внезапные и неведомые приступы дурноты, время от времени овладевавшие Мятлевым. Предугадать их было невозможно, сколько мы ни пытались. Врачи, пользовавшие его в разные периоды, единодушно отвергали мысль о возможной падучей. Да и течение приступа нисколько не напоминало известную и отвратительную болезнь. Начиналось это с бледности, которая мгновенно покрывала все лицо, на губах появлялась виноватая улыбка, взгляд тускнел, безволие сковывало члены. Он говорил невпопад, шел, куда не намеревался, соглашался со всем, что бы ему ни говорили, и при этом настойчиво старался вручить собеседнику деньги, какие при нем были... Однако это продолжалось обычно не долее минуты и исчезало почти бесследно, если не считать робкого желания остаться в одиночестве, наедине с графинчиком водки.

Не страдая никакими недугами, я жалел князя и советовал ему взять отпуск и укатить в мою благословенную Грузию, но он лишь посмеивался в ответ, в то же время не отказываясь от услуг бесполезных и бессильных врачей.

Я стал бывать в его доме. Там еще продолжало кружиться по инерции хлебосольное колесо празднеств и развлечений, но обороты его становились все реже и реже. Старое поколение покинуло этот мир или устало, новое имело другие наклонности. Мы быстро сошлись с Мятлевым. Служба в лейб-гвардии Павловском полку тоже не слишком меня обременяла. В союзе кавалергарда и павловца не было ничего зазорного, и мы обратили всю свою энергию на то, чтобы хоть как-то, как нам казалось, замедлить быстротекущую жизнь и попридержать покидающую нас юность. Не смею утверждать, дабы не прослыть искажителем истины, что лишь одни проказы и удовольствия занимали наши мысли и время. Нет, возраст коснулся и нас своей ладонью, образумливая и утишая. Лишь иногда теперь мы все же словно срывались с цепи и в каком-то не слишком веселом неистовстве принимались за осуществление своих фантазий, покуда снова не приходили в себя... Но это случалось все реже и реже, и все реже и реже князь появлялся в свете.

Золотое это племя давно успело показать ему свою пустую душу и острые коготки, и в его забавах Мятлев уже не находил себе утешения. Что же было делать человеку незаурядному, ежели заурядность одна признавалась в этом племени и одна не была гонима? Раствориться в нем и отдаться на волю волн? Этого князь не мог. Сам того не осознавая, он старался выплыть и барахтался в бездушном океане, иногда мстя ему в меру своих сил. Ах, эта месть — игра, да и только! Не велика беда для твоих хулителей — пьяное твоё ожесточение, когда все кажется мало, мало, и фантазия уже граничит с безумством, и ты видишь мир поверженным и наказанным... Ан

это ты сам, налижавшись, ровно мастеровой, полный бес-
силия и отрицания, тешишь себя вином. И все мало, ма-
ло, мало... Сначала пилось в больших компаниях, но круг
сужался... Бывало, что князь прикладывался и в одино-
честве. За ним уже успела установиться репутация чело-
века опасного, отрезанного ломтя, изгоя, насмешника,
способного на любой неожиданный поступок. Известно
было, что государь его не одобряет, помнит его проказы
и что, ежели разговор вдруг заходит о князе, откровенно
морщится.

6

Вот каковы были обстоятельства, когда мы окон-
чательно сблизились. Мы жили сегодняшним днем, не
ожидая от будущего ничего, кроме мелких пакостей. Но
жизнь есть жизнь. И, едва став почти безраздельным
владельцем большого дома, Мятлев тотчас принялся
устраиваться в нем по-своему.

В сапогах, в белой кружевной сорочке с распахну-
тым воротом, полный священного огня созидания, по-
добный вдохновенному зодчему, мелькал он то здесь, то
там по дому. Он начал с третьего этажа и переоборудо-
вал его, как я уже рассказывал. Второй этаж был остав-
лен в прежнем виде. Он состоял из нескольких помеще-
ний разной величины. Самое крупное — большая гостиная.
Она имела овальную форму. Громадная витая
бронзовая люстра нависала над ее центром. Четыре по-
тускневших зеркала аккуратно располагались по стенам
впережку со сливочными колоннами; удобные диваны
минувшего столетия, обитые вишневым французским
бархатом, опоясывали гостиную; великолепный паркет
блистал, будто вчера натертый. Гостиная казалась пус-
той, лишенная рояля и кресел, зато она открывала те-
перь свое пространство, годное для фехтования и оди-

ночества. В малую гостиную были теперь снесены все карточные столы, и она напоминала классы, покинутые учениками навсегда. Я не спрашивал князя, что побуждало его перестраивать свой быт так, а не иначе, но, судя по его возбуждению и по смеху, с которым он все это продельвал, можно было предположить, что какой-то очень тонкий, едва уловимый расчет руководит новым хозяйном дома. Наконец пришло время экзекуции первого этажа. Он велел заколотить все двери жилых покоев, пощадив лишь службы и людскую, и навсегда, как ему казалось, отгородил себя от монументального кабинета-библиотеки отца, предварительно опустошив его по своему вкусу. Были заколочены двери в спальни отца и давно умершей матери, хотя все там, внутри, было оставлено в неприкосновенности. Освободившись таким странным образом от своего же прошлого, он распорядился втрое сократить количество прислуги, возвратив их в деревни, чему они не были рады; оставил себе повара, кухарку, форејтора, лакея, садовников и круглолицего Афанасия в качестве камердинера, мажордома или дворецкого, или адъютанта, ибо в лице этого деревенского чудака и ровесника успел за многие годы приобрести человека, как ему казалось, преданного, надежного и оригинального.

И вот, совершив все вышепоименованное, он продолжал жить уже как бы в новом качестве. И, видимо, в связи со всеми этими новшествами, о которых зловещий слух не замедлил разлететься, и заехала к нему как-то его сестра, фрейлина великой княгини Елены Павловны — Елизавета Васильевна, похожая на натянутую струну. Не снимая шубы, в зловещем молчании проследовала она на третий этаж. В комнате не пожелала сесть, стояла в дверях, брезгливо вглядываясь в прихотливое ничтожество княжеского убранства. С виноватой улыбкой Мятлев выслушал ее расточительный гнев, не желая понимать своей вины, которая была ужасна хотя бы

тем, что напоминала вызов, ибо все эти преобразования и стиль поведения... Он безуспешно пытался вставить хоть слово, но она повелительным жестом прерывала его и говорила все сама, сама, сама... И он кивал ей, будто бы соглашаясь, но она-то знала, как мало согласия в мягких кивках этого сумасброда... Она не намерена краснеть за него и видеть недоумение и осуждение в глазах людей, окружающих ее, и выслушивать их соблезнования!.. Больше ее нога... бесчинство... гнев государя... забвение...

7

Пока он судорожно растрачивал свою молодость, женщины не были для него объектом пристального внимания. Их образ не выросал над привычными пристрастиями. Влюбчивость же, как он думал, минула еще в ранней юности. Воспоминание о первой любви было смешным и далеким. В бытность свою в пажеском корпусе он повстречался на детском балу у Шереметевых с Машенькой Стрекаловой. Голова у него слегка закружилась при звуках ее капризного голоса. Он понял, что не сможет забыть ее, и после первого же танца ускользнул с нею в пустую буфетную. Там они присели на лавку, и Сережа Мятлев, наклонившись к ней, увидел в вырезе ее платья два неких розовых бугорка, две едва заметные припухлости, что-то такое нежное и живое... Он поцеловал ее в острое плечико, а сам, целуя, все косился туда, в полумрак, где *это* вздымалось и опадало тревожно и часто.

— Ах, — сказала она, не отстраняясь, — вам следует поговорить с татап!

— О чем? — спросил он, не понимая. — Я люблю вас навеки...

— Тем более, — сказала она. — Если вы просите моей руки, как же можно, минуя татап? Как она скажет,

так и будет. Вы мне тоже приятны, не скрою, но как же без маман?

Они вернулись к танцам, никем не замеченные. Позже Мятлев уехал домой. И уже в карете, засыпая на плече гувернера, подумал, что не знает, о чем говорить с Машенькиной матерью и как говорить, и еще подумал о том, что девочка вовсе не так хороша, хотя *это* у нее было такое нежное и, наверное, горячее, что хотелось прикоснуться.

И все-таки это был уже опыт, на который он опирался впоследствии в разговорах с бывальыми кавалергардами.

Потом он соблазнил, едучи как-то в свое костромское имение, молодую розовощековую поповну. Вернее, она соблазнила его. От нее пахло молодостью, рекой и луком, и это запомнилось Мятлеву на всю жизнь. Переполненный любовным опытом, он некоторое время скептически относился к женщинам, покуда кавалергардская фортуна не обязала его придерживаться установленных правил. В этой звонкой среде все было на виду, на ладони. Донжуаны в кирасах исповедовались друг другу с жаром отправляющихся в последнюю битву или на эшафот. История следовала за историей, любовные приключения сменяли друг друга. Кавалергардская казарма гудела. У начинающих кружились головы и захватывало дух. Послушать разговоры, так могло показаться, что все женщины Петербурга, сойдя с ума, поклялись в вечной неверности своим мужьям и с легкостью устремились в объятия скучающих офицеров. Наверное, в этом был свой резон. Умение как ни в чем не бывало дружить с мужем своей любовницы — вот что было высшим и тончайшим признаком совершенства. Захотелось испытать и это, словно попробовать холодную воду кончиками пальцев, прежде чем окунуться в нее с головой. Удобный случай не заставил себя долго ждать, ибо он всегда возле нас и тотчас объявляется, лишь прояви мы к нему расположение.

Жене барона Фредерикса, действительного тайного советника и камергера, Анне Михайловне Фредерикс, урожденной Глебовой, перевалило за тридцать, но она продолжала оставаться все той же пленительной Анетой, с движениями, исполненными чарующей грации. Она редко бывала в свете, что придавало ее имени оттенок таинственности, а молчаливость усиливала это впечатление в глазах окружающих ее людей. Мятлев встречал ее и раньше, но положение замужней дамы и натуральная сдержанность в ней, граничащая с холодностью, не располагала его к чувствам. Однако время шло, и они встретились на большом балу, кажется, на Рождество, а может, несколько раньше, и он впервые танцевал с ней. Что-то вдруг словно ожгло его, едва он коснулся ее руки, тонкий надменный аромат исходил от ее розового шелка и черных локонов. Ее большие сливовидные глаза были неотрывно устремлены на него, но выражали больше равнодушия, нежели интереса. Танцевала она легко, но без страсти и азарта молоденьких барышень, несмотря на то что Мятлев с непонятным волнением пытался передать ей хоть малую искру бального вдохновения.

— Вы редко выезжаете, — проговорил он, чтобы не быть в одиночестве.

Она не ответила, лишь снисходительно улыбнулась.

Неожиданно он понял, что она неопишимо хороша, пленительна и что случится непоправимое, ежели он не сможет отныне видеть ее часто. Это было в нем так сильно, как никогда до того. Он старался не глядеть на нее, чтобы не быть убитым наповал, смеялся в душе, пытаясь залить бушующее пламя, но попытки были напрасны. Глубокие ее глаза и розовый шелк платья казались ему грозовым небом. Дышалось трудно, с ужасом. Она, видимо, не испытывала ничего подобного, так как, стои-

ло ему взглянуть на нее, он встречал ее спокойный взгляд и все ту же снисходительную улыбку.

— Вы будете у Бобринских в следующий четверг? — задыхаясь, спросил он.

Она пожала плечами, не отводя взгляда.

В душе Мятлева бушевала буря. Он искал ее ко второму танцу, но не мог найти. Наконец ему сказали, что она уехала. Он был в смятении, однако, возвращаясь домой, вдруг ощутил себя здоровым и спокойным, объяснил это собственной каменностью и в раздражении на себя самого за эту каменность и черствость пытался взвинтить себя. Начал было письмо к ней, но слова выходили слишком прохладны. Наступил четверг. Он летел в карете и думал: «Как стыдно, как я безобразно спокоен! Что это со мной?.. Нет, я люблю ее! Вот именно, люблю...» Вошел в залу. Ее не было... Вдруг она появилась со своим мужем, уже немолодым рыжим человеком, который тотчас удалился к таким же, как он, играть или делиться впечатлениями дня, кто знает. Как только он ее увидел, нешуточная страсть вспыхнула в нем. «Ага!» — позлорадствовал он над самим собой. Она была милостива. Узнала. Они танцевали. Взгляд ее был уже без прежней снисходительности. Напротив, что-то даже теплое и располагающее промелькнуло в нем и в выражении ее лица, так что Мятлев вдруг освободился от кошмаров, преследовавших его целую неделю.

— Я все время думал о вас, — признался он.

Она не ответила, но поглядела на него с интересом.

— Побудьте подольше, — попросил он. — А то вы исчезаете...

И она исчезла, не дождавшись середины бала, и снова оставила его в пустоте и неопределенности. И тут же, к его досаде, пламя начало угасать. Он еще цеплялся за него, раздувал, припоминая ее плечи, щеки и тепло, идущее от них, вечное, обольстительное и проклятое. Он еще вдалбливал себе в голову мысль о своей невероят-

ной любви, но говорил об этом уже сдержаннее, видя перед собой четкий контур адюльтера.

Вдруг от Фредериксов пришло приглашение посетить их! Так просто и изысканно выглядел надушенный конверт, что мой князь восторженно и отправился к ней за два часа до намеченного срока. Он отпустил карету. Спихнулся, но было уже поздно. И, пока не наступила минута, позволяющая войти, не нарушая приличий, он около полутора часов фланировал невдалеке от особняка Фредериксов. И вот наконец он вступил на спасительный берег, где был совсем иной порядок, иные нравы, иные страсти. Не так шурился под ногами ковер, не так потрескивали свечи, неведомый сквозняк овеивал его, покуда он, замирая, переступал по лестнице деревянными ногами. Почти угасший огонь вновь бушевал в нем. Он снова любил и был счастлив. Все, что он еще мог увидеть вокруг себя, приводило его в умиление, на всем он видел легкое касание ее руки, дыхания, взгляда. Мраморная лестница казалась нескончаемой, и неожиданные листья живой смоковницы сочились сквозь белые перила неизвестно откуда, и почему-то в голове вертелся вздорный мотив и первая строчка: «Я сорвал для тебя этот цветик лесной...» Что там было дальше, Мятлев не помнил, лишь старательно повторял эту строчку. Перед распахнутой дверью в гостиную он зажмурился. Она пошла к нему навстречу.

— Здравствуйте, князь. Мы рады вас видеть, — сказала она, и он впервые услышал ее голос. Ноги приобрели прежнюю упругость и устойчивость. Он поцеловал ее руку. Вдруг ему показалось, будто нечто мягкое, темное, неопределенное выдвинулось из глубины гостиной и на мгновение заслонило свет. Затем оно осторожно приблизилось и остановилось неподалеку.

— Знакомьтесь, — услышал он над собой. — Вот и наш славный князь.

Перед Мятлевым стоял сам Фредерикс в простом полубраке. Мятлев машинально сравнил их обоих.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ	7
КНИГА ВТОРАЯ	352
Эпилог	620
Послесловие Амира́на Амилахвари	631
Современное послесловие	632